

Владимир Галактионович Короленко

**Мороз**

**Короленко Владимир  
Галактионович  
Мороз**

Владимир Галактионович Короленко  
Мороз

I

Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху, по течению реки.

В сентябре под Якутском было еще довольно тепло, на реке еще не было видно ни льдинки. На одной из близких станций мы даже соблазнились чудесною лунною ночью и, чтобы не ночевать в душной юрте станочника, только что смазанной снаружи (на зиму) еще теплым навозом, - легли на берегу, устроив себе постели в лодках и укрывшись оленьими шкурами. Ночью мне показалось, однако, что кто-то жжет мне пламенем правую щеку. Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. Кругом стоял иней, иней покрыл мою подушку, и это его прикосновение казалось мне таким горячим. Моему товарищу, спавшему в одной лодке со мною, - снилось, вероятно, то же самое. Луна светила ему прямо в лицо, и я видел ужасные гримасы, появлявшиеся на нем то и дело. Сон его

был крепок и, вероятно, очень мучителен. В это время в соседней лодке встал другой мой спутник, приподняв дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Все было бело и пушисто от изморози, и весь он казался белым привидением, внезапно возникшим из холодного блеска инея и лунного света.

- Брр... - сказал он. - Мороз, братцы...

Лодка под ним колыхнулась, и от ее движения на воде послышался звон, как бы от разбиваемого стекла. Это в местах, защищенных от быстрого течения, становились первые "забереги", еще тонкие, сохранившие следы длинных кристаллических игол, ломавшихся и звеневших, как тонкий хрусталь... Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, оза-ренную даль, искрящиеся, почти призрачные...

Это был первый привет мороза в начале длинного пути... Привет веселый, задорный, почти шуточный.

По мере того как мы медленно и с задерж-

ками подвигались далее к югу, зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного девственно-чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный, все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий. Далее лед, плотно схватив уже края реки и окрепшие "забереги", противился быстрому течению. Мороз все продолжал свои завоевания, забереги расширялись, и каждый шаг в этой борьбе отмечался чертой изломанных льдинок, показывавших, где еще недавно было живое течение, отступившее опять на сажень-другую к середине...

Потом кое-где на берегах лежал уже снег, резко оттеняя темную, тяжелую речную струю. Еще дальше, - мелкие горные речки присоединялись к этой борьбе. Постепенно прибывая от истоков, они то и дело взламывали свой лед в устьях и кидали его в Лену, загромаждая свободное течение и затрудняя ее собственную борьбу с морозом... Черты изломов на реке становились все выше; льдины, выбрасываемые течением на края забере-

гов, - все толще. Они образовали уже настоящие валы, и порой нам было видно с берега, как среди этих валов начиналось тревожное движение. Это река сердито кидала в скывавшие ее неподвижные ледяные укрепления свободно еще двигавшимися по ее строжню льдинами, пробивала бреши, крошила лед в куски, в иглы, в снег, но затем опять в бессилии отступала, а через некоторое время оказывалось, что белая черта излома продвинулась еще дальше, полоса льда стала шире, русло сузилось...

Чем дальше, тем эта борьба становилась упорнее и грандиознее. Река швыряла уже не тонкие льдины, а целые огромные глыбы так называемого тороса, которые громоздились друг на друга в чудовищном беспорядке. Картина становилась все безотраднее. Ближе к берегам торос уже застыл безобразными массами, а в середине он все еще ворочался тяжелыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая толпа закрывает место казни... Вся природа, казалось, была полна испуга и печального, почти торжественного ожидания. Пустынные уще-

лья горных берегов покорно отражали сухой треск ломающихся ледяных полей и тяжелое кряхтение изнемогающей реки.

Еще через некоторое время темная струя в середине тоже побелела: по ней, тихо ворочаясь, сталкиваясь, шурша, - густо плыли белые льдины сплошного ледохода, готового окончательно стиснуть присмирившее и обессилившее течение.

## II

Однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди этих тихо передвигавшихся ледяных масс какой-то черный предмет, ясно выделявшийся на бело-желтом фоне. В пустынных местах все привлекает внимание, и среди нашего маленького каравана начались разговоры и догадки.

- Ворона, - сказал кто-то.

- Медведь, - возражал другой ямщик.

Мнения разделились. Одним черная точка казалась не больше вороны, другим - не меньше медведя: отдаленное однообразие этих белых подвижных масс, лениво проплывавших между высокими горами, - совершенно извращало перспективу.

- Откуда же взяться медведю на середине реки? - спросил я у ямщика, высказавшего предположение о медведе.

- С того берега. В третьем годе медведица вон с того острова переправилась с тремя медвежатами.

- Нонче тоже зверь с того берега на наш идет. Видно, зима будет лютая...

- Мороз гонит, - прибавил третий.

Весь наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавшего всех предмета. Белая ледяная каша между тем тихо подвигалась к нам, и было заметно, что черная точка на ней меняет место, как бы действительно переправляясь по льдинам к нашему берегу.

- А ведь это, братцы, козуля, - сказал, наконец, один из ямщиков.

- Две, - прибавил другой, взглядевшись.

Действительно это оказались горные козы и действительно их было две. Теперь нам уже ясно были видны их темные изящные фигурки среди настоящего ледяного ада. Одна была побольше, другая поменьше. Может быть, это были мать и дочь. Вокруг них льдины бились,



сталкивались, вертелись и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на большой сравнительно льдине, подобрав в одно место свои тоненькие ножки...

- Ну, что будет! - сказал молодой ямщик с глубоким интересом.

Огромная льдина, плывшая впереди той, на которой стояли козы, стала как будто замедлять ход и потом начала разворачиваться, останавливая движение задних. От этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. Льдины становились вертикально, лезли друг на друга и ломались с громким, как выстрелы, треском. По временам между ними открывалась и смыкалась опять темная глубь. На мгновение два жалких темных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы тотчас же заметили их на другой льдине. Опять собрав свои тонкие, дрожащие ножки, козы стояли на другой ледяной площадке, готовые к новому прыжку. Это повторилось несколько раз, и каждый прыжок с рассчитанной неуклонностью при-

ближал их к нашему берегу и удалял от противоположного.

Можно было уже проследить план умных животных. Невдалеке от нас конец мыса выступал острым краем в реку, и здесь льдины, разгоняемые течением, разбивались с особенной силой. Зато более отдаленные, избегавшие линии удара, тотчас же подхватывались отраженной струей и уносились опять к другому берегу реки. Старшая из двух коз, видимо руководившая переправой, с каждым прыжком, очевидно, направлялась на этот мысок, гремевший от напора ледохода... Видела ли она нас, или нет, - но наше присутствие она явно не принимала в соображение. Мы тоже стояли на самом мысу неподвижно, и даже большая остроухая и хищная станочная собака, увязавшаяся за нами, очевидно, была заинтересована совершенно бескорыстно исходом этих смелых и трагически-опасных эволюции... Совсем уже близко от берега, в десятке саженой от целой кучки людей, козы все так же были поглощены только столкновением льдин и своими прыжками. Когда льдина, на которой они стояли, тихо кружась,

подошла к роковому месту, - у нас даже захватило дыхание... Мгновение... Сухой треск, хаос обломков, которые вдруг поднялись кверху и поползли на обледенелые края мыса - и два черных тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег, поверх этого хаоса.

Они были уже на берегу. Но на другой стороне косы была темная полоса воды, а проход загораживала кучка людей. Однако умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд ее круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака, большой мохнатый Полкан, сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загораживая младшую, пробежала мимо нее, почти коснувшись боком ее мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великодушием и опасаясь, что мы истолкуем его в невыгодном для нее смысле. Но мы одобряли ее сдержанность и только радостно смотрели кверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластываясь над верхушками скал...

### III

Эту станцию с нами вместе ехал случайным попутчиком Иван Родионович Сокольский, начальник разведочной приисковой партии. Когда-то какая-то буря занесла его в далекую Сибирь, и он уже не старался вырваться отсюда, втянувшись в богатую своеобразными впечатлениями жизнь приискового разведчика. Это был человек крупный, с обветренным лицом, седеющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевные движения. Его чувства, казалось, так же скрывались под невыразительной физиономией, как течение реки под льдами. В его кошеве (в которой эту станцию я ехал с ним вместе) лежало ружье в чехле из лосиной кожи, и хотя он стоял рядом и ему стоило только протянуть руку, чтобы вынуть ружье, - он не сделал этого движения. Его твердые серые глаза все время не отрывались от животных, и мне в первый раз в течение нашего - недолгого, впрочем, - знакомства показалось, что в этих серых глазах мелькает что-то, не совсем холодное и не совсем загрубевшее.

Когда весь этот маленький эпизод закончился благополучно, мы все уселись опять, и наш караван двинулся далее, растянувшись под каменистым берегом. Все мы были настроены как-то весело, и все обсуждали смелый подвиг животного, сумевшего сохранить такое самообладание среди стольких опасностей.

- Впрочем, - сказал я, улыбаясь, - кое-что надо отнести и на наш счет. Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства.

- Из чего вы это заключаете? - спросил Сокольский серьезно.

- Из совершенно необычного поведения этого Полкана, а также, простите сопоставление, - вашего собственного: ваше ружье осталось в чехле.

- Да, - ответил приискатель. - Это правда. Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасностей, и, я думаю, даже Полкану было совестно закончить все это простым убийством на берегу... Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки?.. Всякий ли человек сде-

дает это при таких обстоятельствах?

- Всякая мать, я думаю... - сказал я, улыbnувшись. - Вообще, мне кажется, на вас этот маленький эпизод произвел сильное действие.

Лицо Сокольского носило следы внутреннего волнения, глаза глядели с мягкой грустью...

- Да, - ответил он задумчиво. - Это напомнило мне одну историю и одного человека... Вот вы сказали о действии мороза и о добрых чувствах. Нет, мороз - это смерть. Думали ли вы, что в человеке может замерзнуть, например... совесть?

- И даже весь человек может превратиться в льдину, то есть перестанет быть человеком, - ответил я, опять улыbnувшись. Настроение моего спутника казалось мне все более загадочным.

- Нет, - ответил он с той же странной мягкой грустью. - Нет, гораздо раньше. Вот я расскажу вам, если хотите... Кстати, и было это почти в этих самых местах. Я вот еду теперь с вами, и мне кажется, что... я переживаю начало моего рассказа, а вы поедете дальше и

встретите его продолжение...

#### IV

- Это было в 18... таком-то году. В то время я только что получил место и ехал с товарищем на прииск. Осень, как и нынешняя, сильно запоздала, зима медлила, и мы подвигались очень тихо. Здесь вот приблизительно мы так же встретили первый ледоход. Дальше лед все крепче схватывал реку, течение становилось все уже, потом оно стало перерываться заторами. Вот посмотрите сами, что это такое... В одном месте густо сталкиваются огромные льдины и загораживают течение. Река нагромождает их все больше, ломает лед, образует пороги, ревет, беснуется... Кругом на целые версты стоит гул и грохот... Потом лед опять прорвется и сплывет вниз, а на середине реки мало-помалу остаются только полыньи, над которыми носится густой пар, прохваченный морозом.

Я ехал с товарищем - поляком из ссыльных. Он участвовал в известном восстании на кругобайкальской дороге и был ранен. Усмиряли их тогда жестоко, и у него на всю жизнь остались на руках и ногах следы железа: их

вели в кандалах без подкандальников по морозу... От этого он был очень чувствителен к холоду... И вообще существо это было хлипкое, слабое, - в чем душа, как говорится... Но в этом маленьком теле был темперамент прямо огромный. И вообще весь он был создан из странных противоречий... Фамилия его была Игнатович...

Сокольский задумался, и некоторое время мы ехали в молчании. Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять повернулся ко мне.

- ...Боюсь, что я не сумею вам передать, что это была за натура... Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче. Нам, русским, всегда было чуждо это настроение, эти... как бы сказать... экста-тические преувеличения, что ли. Есть у Мицкевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное я головой поднялось в надзвездные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звезды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией... В этом роде... Я всегда оставался холоден



к этим образам и с некоторым удивлением слушал, как мой приятель (мы жили с ним в Якутске около года) декламировал их с необыкновенным огнем и увлечением. И, не понимая сам ни возможности, ни красоты этих картин и этого настроения, - я все же должен был признать, что они могут будить ответные отголоски: мой маленький приятель, казалось, вырос, голос его начинал звенеть, глаза сверкали, и... если не образы, которые мне все-таки казались ненатурально преувеличенными и странными, - то звуки его голоса заражали даже меня...

Я думаю, что это можно назвать романтизмом... Какое-то преувеличенное представление о человеке, о его "божественном начале", об его титаническом значении. Но в этом настроении моего приятеля не было цельности. Кажется, уже во время самого восстания, за которое он и попал в Сибирь, человеческая природа повернулась к нему своими не особенно привлекательными и во всяком случае далеко не божественными сторонами... Потом было что-то и с женщиной. Когда она представляется в надзвездных высотах, созданной

из лучей, - то, разумеется, обратная сторона женской натуры воспринимается с болезненной чуткостью... Как бы то ни было, на него находили порой целые полосы мизантропии. Тогда он становился почти невыносим, особенно в совместной жизни. В его взгляде, пронизывающем и холодном, виднелось что-то вроде презрения - к вам, к незнакомому прохожему, к самому себе. В эти периоды он становился материалистом и циником, говорил резкости, и... я тогда старался уйти куда-нибудь надолго, по возможности на несколько дней... Товарищ же мой с особенной заботливостью принимался ухаживать за животными...

Любовь к животным была тоже выдающейся чертой этого странного человека. Бывали целые периоды, когда наше скромное жильё положительно превращалось в лечебницу. Целую неделю он возился с замерзшей вороной, которую вернул к жизни, а больную лошадь водил в поводу на прогулку по два раза в день, не смущаясь насмешками. И замечательно, что, чем более он сердился на человека, тем более нежности отдавал животным.

В конце концов, пессимист и циник (в такие периоды) по отношению к "царю природы" - он превозносил ее меньших тварей. Он не только признавал в них ум, память, соображение, совесть, но даже считал эти стороны интеллекта исключительно их принадлежностью, совершенно чуждой человеку... При этом он становился дьявольски, невыносимо остроумен и саркастичен, и порой, когда мне некуда было скрыться в периоды его мизантропии, я совершенно изнемогал под градом его парадоксов и начинал, право же, чувствовать себя действительно ниже всякого скота, в то время, как какая-нибудь собака со спиной, перешибленной поленом досужего бездельника, казалась мне чуть не сознательным страдальцем и философом. Впрочем, когда эти припадки проходили, он опять оживал, опять парил под небесами и декламировал "мировые симфонии". В то время он тоже получил место на прииске чем-то вроде смотрителя материального склада... В практических вопросах я всегда имел преимущество. Я нашел ему эту должность и уговорил принять ее. Он пассивно подчинился, и мы отправи-

лись в путь, как только получили аванс. Обстоятельства наши были не особенно блестящи.

Ехали мы все-таки несколько быстрее вашего и, несмотря на то, что одежонка у нас была неважная, как-то еще не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. Морозы были порядочные, но озябнешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чем не бывало.

За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутовищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелета, остались умирать на этой холодной реке. Пока течение было еще свободно хоть на середине, - они плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды все суживалось, потом остались только эти полыньи. Когда и они замерзнут, уткам предстояла гибель. Теперь они вдвоем метались по узкой полынье, охва-

ченные холодным паром, а кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы.

Я помню, что ямщик смеялся, скаля свои белые зубы... Мне стало немного жутко и холодно, и я запахнулся дохой, как будто это подо мной была эта темная, холодная глубина. Но мой товарищ сразу заволновался и вспыхнул.

- Стой! - закричал он ямщику. - Неужели вы способны проехать мимо?.. обратился он ко мне с горечью и, не ожидая, пока ямщик остановит лошадей, выскочил из кошевы, затем, скользя и падая на торосьях, кинулся к полынье.

Ямщик смеялся, как сумасшедший, и я тоже не мог удержаться от улыбки при виде того, как мой товарищ, наклонившись над узкой, но длинной полыньей, старался поймать уток. Птицы, разумеется, кинулись от него. Тогда мой маленький спутник перебежал на нижний конец полыньи, правильно рассчитав, что уток теперь понесет течением к нему, особенно когда, заинтересованный этим эпизодом, я тоже вышел на лед и погнал

их книзу... Нырять они боялись, так как течение несло под лед. Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая силы, а может быть, когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге.

Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга. Он стоял на льду, следя за полетом птицы, мелькавшей на фоне угрюмых гор, опущенных снегами, и когда она самоотверженно шлепнулась в нескольких шагах на воду, с очевидным намерением разделить общую опасность, - у него на глазах появились слезы... Затем он решительно заявил, что мы можем, если угодно, ехать дальше, а он останется здесь, пока не поймает обеих уток.

Я знал, что он непременно исполнит свою угрозу, и у нас началась своеобразная охота, к которой, наконец, присоединился и ямщик. В результате одна птица, именно та, которая пыталась улететь, - утонула. Она нырнула из моих рук, и течением ее унесло под лед... Дру-

гая очутилась в руках ямщика. Игнатович сильно вымок, и с рукавов его дохи лилась вода.

Это было очень серьезно, так как до станции было еще не близко. Я укутал его, чем мог, но на станке мы едва оттерли его обмороженные пальцы, и целые сутки после этого мы не говорили друг с другом. Утку эту мы повезли дальше, и хотя я принимал участие в ее спасении и под конец даже увлекся этим благотворительным спортом, - но все-таки признавал, что это сентиментально и глупо, тем более, что всюду наш третий пассажир вызывал справедливые, по-моему, насмешки станочников. Игнатович чувствовал это мое настроение и презирал меня.

В конце концов, утка все-таки издохла, и мы ее кинули на дороге, а сами поехали дальше. Несколько дней шел густой пушистый снег, покрывший на три четверти аршина и лед, и землю. Он массами лежал на деревьях и порой падал с них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе.

Потом ударил мороз в тридцать, тридцать пять, сорок градусов. Потом на одной из стан-

ций мы уже видели замерзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полет, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные и злые... Охотники на белок прекратили из-за этих озлобленных медведей свой промысел.

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания не хватает, моргнешь глазами - между ресницами протягиваются тонкие льдинки, холод забирается под одежду, потом в мускулы, в кости, до мозга костей, как говорится, - и говорится недаром... Вас охватывает дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, неприятная и даже, право, унижительная... Приедешь на станцию, - до полуночи едва начнешь обогреться, а на утро трогаешься в путь и чувствуешь, что в тебе что-то ubyло, что начнешь зябнуть раньше, чем вчера, и приедешь на ночлег еще более озябший... Настроение меняется, впечатления постепенно тускнеют, люди кажутся неприятнее. Сам себе тоже становишься противен...



В конце концов закутываешься как можно плотнее, садишься поудобнее и стараешься об одном: как можно меньше движений, как можно меньше мыслей... организм инстинктивно избегает всякой траты... Сидишь, и понемногу стынешь, и ждешь с каким-то испугом, когда кончатся эти ужасные сорока - пятидесятиверстные перегоны...

Наконец мы стали приближаться к Витиму. С N-ской станции выехали мы светлым, сверкающим, снежным утром. Вся природа как будто застыла, умерла под своим холодным, но поразительно роскошным нарядом. Среди дня солнце светило ярко, и его косые лучи были густы и желты... Продираясь сквозь чащу соснового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака.

Перегон был необычайно длинен. Ямщик (им здесь ездить приходится не очень часто) сначала был очень бодр и даже пел какую-то безобразную приисковую песню... Потом и он смолк и то и дело бежал вприпрыжку рядом с санями, усиленно топая ногами и хлопая озябшими руками в рукавицах... Мой спут-

ник, казалось, совсем застыл. Во все время он заговаривал только раз, но его голос показался мне скрипучим и неприятным, и я проворчал что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потом он молчал, как заоченелый, и я представлял себе его лицо - с мизантропическим и противно-злым выражением. Я тоже молчал и отворачивался в сторону, чтобы изморозь от моего дыхания не попадала мне в лицо - через отверстие в башлыке...

Дорога пошла лесом, полозья скрипели; лошади то и дело фыркали, и тогда ямщик оставался и извлекал пальцами льдины из их ноздрей... Высокие сосны проходили перед глазами, как привидения, белые, холодные и как-то не оставлявшие впечатления в памяти...

Уже вечерело, последние лучи солнца, еще желтее и гуще, уходили из лесу, с трудом карабкаясь по вершинам. А внизу ровный белый сумрак как бы еще более настывал и синел. Звон колокольчика болтался густо и как-то особенно плотно, точно ударяли ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы.

В одном месте в глаза мне попало неожиданное впечатление: невдалеке от дороги вился тонкий дымок между валежником. На пне сидел человек, и его фигура одна чернела среди общей белизны темным пятном... Над ним со всех сторон свесились мохнатые лапы лесной заросли, вверху еще освещенные солнцем, внизу уже охваченные сумраком наступающей ночи. Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда... В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суетливому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул головы, не повел глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатления плыли к сознанию застывшие, мертвые, неподвижные, ничего в нем не будя и не шевеля воображение...

Ямщик повернулся к нам и, наклонясь, стал говорить что-то, и помню, что он смеялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки... Самые слова были пусты, в них для меня в ту минуту не было никаких понятий. Смех ямщика тоже

не казался мне смехом и не производил на меня того впечатления, какое произвел бы при других обстоятельствах. Я просто видел неприятно-желтоватое лицо в рамке мехового малахая, два глаза с ресницами, опущенными инеем. Челюсти на этом лице двигались, рот был неприятно перекошен, и из него вылетали вместе с паром пустые звуки, как звон по стеклу... Вот и все... Мой спутник зашевелился и тоже пробормотал что-то. Кажется, он сердито торопил ямщика...

Короткий день давно угас, когда мы достигли станка и расположились на ночлег.

Помню это была кучка лачуг, как и большинство станков - под отвесными скалами. Те, кто выбирали места для этих станков, мало заботились об удобствах будущих обитателей. N-ский станок стоял на открытой каменной площадке, выступавшей к реке, которая в этом месте вьется по равнине, открытой прямо на север. Несколько верст далее станок мог бы укрыться за выступом горы. Здесь он стоял, ничем не прикрытый, как бы отданный в жертву страшному северному ветру.

Кроме официального названия, жители

называли его еще "Холодным станком". И действительно, трудно найти что-нибудь более вызывающее представление о холоде, чем эти кучки бревен, глины и навоза на каменистой площадке, заметенные снегом и вздрагивавшие от ветра. Лес, который мы оставили позади, кончился у начала лугов в низинке и не закрывал станка, а только наполнял воздух протяжным, пугающим гулом.

Впрочем, мы рады были и этому приюту и доехали как раз вовремя, чтобы быть еще в состоянии отогреть застывшие члены. К счастью, лесу в окрестностях было довольно, не принадлежащего никому, кроме бога, поэтому скоро в камельке запылал яркий огонь, и мы, разостлав на полу одеяло и шкуры, - легли прямо против пламени, проглотив наскоро по стакану чая. Стаканы было трудно держать в заоченелых руках, но ощущение теплоты потерялось; мы только обжигались, а не согревались кипятком и, бросив чай, заползли под свои шубы. Зубы у меня все еще стучали, озноб чувствовался даже в костях.

Хозяин, допив наш чай, угостив также сильно озябшего ямщика, подложил еще дров

и скрылся в какой-то угол.

В темной избушке все затихло.

Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара... Удары эти становились все чаще и продолжительнее. По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность ее гудела, точно пустой ящик под ветром. Тогда, несмотря на шубы, я чувствовал, как по полу тянет холодная струя, от которой внезапно сильнее разгорался огонь и искры вылетали гуще в камин.

- Беда! - сказал в одну из таких минут хозяин, обращаясь к засыпавшему ямщику. - Как поедешь? Поднялся сивер, поземка идет.

- Да... - ответил тот. - А мороз не стал меньше... Такому ветру, прибавил он, по-своему коверкая русский язык, - гляди и почта не ходит...

- Не дай бог, - прибавил хозяин, зевая.

Я понял, что это начинается сравнительно редкое явление - морозная буря, когда налетающий откуда-то ветер толкается в отяжелев-

ший морозный воздух. Отдельные толчки и гул служили признаками первых усилий ветра, еще не могущего двинуть сгущенную атмосферу... Потом толчки стали продолжительнее, гул становился ровным, непрерывным. Охлажденный ниже сорока градусов, воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслись волны бездонного океана...

Под этот шум я стал засыпать, все еще плохо сознавая происходящее и только радуясь животной радостью при мысли, что я в избе, близко к огню, что все то, что во мне так неприятно застыло и окоченело, - скоро должно оттаять и распуститься...

И действительно, что-то "оттаяло... и распустилось..."

V

- Как и когда оказалось, что я уже не сплю и притом совсем не сплю, сказать я бы не мог. Я проснулся незаметно, но некоторое время мне казалось, что я еще вижу сон или что я тщательно берегу в памяти остатки сна, как бы боясь, что он исчезнет и я не успею рассмотреть в нем что-то очень важное и очень

нужное. А между тем сон был самый простой.

Мне снилось, что я опять еду той же дорогой, и опять мне холодно, и опять кругом меня опущенный инеем лес, и косые лучи солнца, густые и желтые, уходят из этого леса, играя кое-где на стволах и мохнатых ветках... Только где-то за лесом что-то еще гудит глухими, стонущими ударами, как будто гонится за нашими санями.

Потом я увидел кучу деревьев, составлявших как бы беседку под мохнатыми ветвями, белыми от снега, и тонкий, как будто замирающий дымок, и около костра темную фигуру... И все это, по обычной нелогичности сна, - казалось мне острыми, колючими льдинками, попавшими мне в грудь и холодившими сердце.

Потом я увидел еще лицо ямщика, сначала бессмысленное и лишенное выражения... Постепенно, однако, оно менялось, становилось знакомым, и, под влиянием его взгляда, льдинки в груди начали вдруг мучительно быстро таять. И, вместе с тем, я чувствовал, что беседка из ветвей в лесу встает во всех подробностях, которых я не замечал раньше, и



всякая подробность обрастает в воображении особенными впечатлениями, и мне страшно взглянуть в лицо человека, как будто зашевелившегося на пне, но ямщик требует от меня, чтобы я непременно взгляделся... Я сержусь на него, но потом вижу, что это уже не ямщик, а Игнатович, и что под влиянием его взгляда, полного мучительной тоски, - все то, что лежало в глубине моей памяти бесцветными холодными льдинками, вдруг растаяло...

Рассказчик остановился и, помолчав, сказал:

- Вы помните, вероятно, легендарные рассказы о полярных странах средневековых путешественников. Зимой слова замерзают и лежат мерзлыми льдинами до тепла. А потом оттаивают и опять становятся словами... Если понимать это, как метафору, в этом есть глубокий смысл. По крайней мере, в эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил еще тогда, на дороге, и которые до этого времени лежали у меня где-то в глубине памяти лишенными смысла. Да, несомненно, он говорил тогда об этом человеке в лесу и о

том, что он "убился" где-то на приисках и идет пешком от станка до станка... Только теперь эти слова вдруг оттаяли, и от них в груди у меня что-то мучительно заныло...

Я невольно застонал и раскрыл глаза. Огонь в камине почти догорел. На дворе все еще тянул ветер, надо мной наклонилось лицо моего спутника...

Никогда в моей жизни, ни прежде, ни после, я не видел ничего ужаснее этого лица, освещенного трепетным пламенем камина... Оно было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса. Нижняя челюсть его дрожала, зубы стучали, как будто от озноба...

- Что такое? Ради бога? - сказал я, подымаясь.

- Вы не знаете? - спросил он, глядя на меня своими угасшими и помутневшими глазами. - Скажите - разве это... был только сон?

- Что именно?

- То, от чего вы сейчас застонали и проснулись, - сказал он резко и затем подозрительно взглянул на меня. И, видя, что я не отвечаю, он все так же подозрительно всматривался

мне в лицо:

- Вы не заметили там, в лесу... человека?

Я промолчал и невольно отвел глаза.

- Послушайте, - заговорил он, - скажите мне что-нибудь... Я еще думаю, что это был сон... Ведь не может быть, чтобы это было наяву!.. Чтобы мы...

- Да ведь это и был почти сон, - сказал я. - Мороз так притупляет впечатления...

Он сделал резкое движение и сразу сел на своем месте; глаза его странно сверкнули...

- Правда?.. - сказал он жалобно и потом вдруг прибавил с какой-то дикой энергией: - Не лгите! Не изворачивайтесь... Я тоже лгал... Я знал, что это было наяву... Мы все видели... все... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... Вы это знаете, и я знаю, и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие... О, какая низость...

Он схватил голову руками, и несколько се-

кунд прошло в молчании. Наша избушка все продолжала вздрагивать, но ровный гул прекратился: опять послышались толчки, и мне положительно казалось, будто там, над рекой, лесом и ущельями, размеренно шагал кто-то огромный и тяжелый...

- Да встаньте же, наконец, вы... негодяй! - крикнул вдруг Игнатович с дикой враждой. - Ведь мы с вами убили человека. Понимаете ли вы, себялюбивое животное! Хозяин, вставай... Зови всех... Господи боже!.. Что делать, что теперь делать?..

В освещенном пространстве около камина появилось испуганное лицо нашего хозяина. Уже с минуту он шевелился, прислушиваясь к непонятному и тревожному разговору незнакомых проезжих людей, упоминаящих об убийстве. И теперь, все еще полусонный, испуганный не столько, вероятно, словами, сколько дикой энергией, звучавшей в голосе почти помешанного человека, он быстро вскочил и стал напяливать на себя верхнюю одежду. Потом, не говоря ни слова, он открыл дверь и вышел в темноту. Ямщик, привезший нас, тоже проснулся, зевнул, сошел с своего

места и подбросил поленьев в камин... Он, видимо, совсем не понимал, в чем дело. В углу заплакал ребенок, и послышался успокаивающий его женский голос.

Все это навсегда врезалось мне в память, и никогда не забыть мне этой ужасной ночи, темной избушки с тихо набравшимся в нее народом и этого протяжного гула снаружи. Знаете, порой есть что-то изумительно сознательное в голосах природы... Особенно, когда она грозит...

## VI

- Послушайте, может быть, вы все-таки доскажете, что было дальше? спросил я через некоторое время, видя, что мой спутник задумался и как будто забыл о своем рассказе, глядя прямо перед собой на освещенные солнцем горы нашего берега. Реки с ледоходом теперь не было видно. Мы ехали лугом, впереди плелись мои спутники, о чем-то весело балагурия с своим ямщиком.

- Да, простите, пожалуйста!.. - заговорил рассказчик. - Я задумался. Это очень тяжелые воспоминания, но... конечно, я доскажу... остановился я на том, что...

- Что в избе стали набираться ямщики, которых, вероятно, созвал хозяин.

- Да, да, конечно... Хозяин созвал их чуть не всех, думая, что в самом деле надо будет вязать убийц. Ямщики входили робко, зевая, крестясь, и жались к сторонке, оставляя вокруг нас пустое пространство. Скоро в углу около дверей образовалась темная куча людей, лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди, глядя в нашу сторону. Последним явился староста с десятскими. Перекрестясь на икону, он резко ступил прямо к нам и заговорил грубо, очевидно стараясь ободрить и себя, и станочников:

- Ну, что такое набедокурили? Винуйтесь богу, великому государю...

Однако, когда я стал разъяснять, в чем дело, в избе постепенно водворялось что-то вроде разочарования. Этим людям жилось всегда так холодно, а мой рассказ, правда бессвязный и сбивчивый, не облакался для них тем захватывающим, трагическим смыслом, какой он имел теперь для нас. Где-то в углу слышался даже смех.

- Да это Митрохин, поселенец! - сказал кто-то.

- Верно, он... Недели, сказывают, уж три плетется с приисков. Надоели нам...

- И верно, - вставил свое замечание привезший нас ямщик. - У нас на станке третьего дня был. Лошадь просил. Свезите, говорит, Христа ради, ноги не ходят.

- Ну, что ж не дали? - спросил староста сурово.

- Надоело уж нам возить-то их. Да и бумаги нет... - ответил ямщик, отворачиваясь. - Была бы бумага или бы к нам привезли его, а то пешком же пришел... Как люди, так и мы...

- Пешком пришел! Умные! То, чай, тепло было, а тут, видишь, сивер. Застынет теперь, - заседатель с доктором, небось, пешком не придут... Возить же доведется... А вы, господа, что народ зря булгачите?.. Ночное дело...

- У него теплина была (костер), - вставил ямщик в виде оправдания.

- Как же зря, - сказал я, чувствуя, что почва у нас начинает ускользать. - Ведь человек замерзнет... Надо помочь.

- Как поможешь?.. Ежели бог сохранит,

придет, дальше свезем... Почто, Тимофей, не подобрал его? - обратился он опять к нашему ямщику.

- Где посадил бы я? Сани махоньки, сам околел...

- Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упадет...

- Пойдите, - крикнул я с тоской. - Нельзя же этак... Ведь в эту минуту, может быть, человек умирает... Слышите, что делается...

На мгновение водворилась тишина, - и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с промежутками толкает что-то в ступе. И по временам воображение пришивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звенящий гул лесных верхушек или, может быть, на реке трескался лед.

В избе слышались вздохи. Тем не менее, дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.

- Спаси господи! - прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:

- Сами тоже стынем... Зима не пройдет, чтобы на ближних станках не застыл чело-



век, а то двое. Перегон у нас лютый!

- Третий год - Федька в этом же лесу застыл.

- В прошлом годе баба с мальчонком.

- А у меня мнук не застыл, что ли? - злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.

- Этому ветру почта не ходит, - опять сказал наш ямщик.

Двери скрипнули еще и еще... Народу убывало.

- Пойдите, - сказал я в отчаянии. - Возьмите деньги, что ли! Десять рублей, - кто согласится поехать со мною...

В это время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...

Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...

- Двадцать, тридцать, все, что у нас есть! - сказал я, почти задыхаясь от волнения...

- Стойте, - крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа

ямщиков сразу остановилась. - Никто не уходите! Слышите, люди деньги дают, а и без денег все одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..

Толпа отхлынула от порога к середине избы... Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими черными глазами. В них виднелась решительность и как будто забота.

- Эх, господин, - сказал он мне сурово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе. Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уж хотел объявить наряд... Теперь пойдет склёка.

И действительно, началась мучительная "склёка". Вы знаете, - эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломки прошлых веков. Земли у них нет, в состоят они на жалованье. "Пара лошадей" составляет основание подушной раскладки, "ду-

ша" равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину, и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.

Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счета, очереди, возка дров, прогон почты, провоз заседателей и исправников, сироты, кормежка арестантов - все это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне. Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьезной непреклонностью:

- Ничего не поделаешь, не мешай! Дело мирское... помешаешь, хуже...

Споры продолжались. Решение все еще не выяснялось... Снаружи несся все тот же злое щий гул...

Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось мое нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту разверсточную маши-

ну, которая так шумно действовала перед нашими глазами, и видел, что пока она сделает точно и справедливо свое дело, - пройдет еще немало времени... И вот он выступил вперед, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно для креста... Тревожная ночь производила свое действие на грубые нервы...

- Братцы, - сказал он. - Нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь. Не надо мне денег... Я еду, не в зачет, без очереди... Когда господь ежели поможет, - оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...

В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, еще недавно много споривший и горячившийся из-за какой-то неочередной "выти", первый сказал с спокойным сочувствием:

- Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...
- Дело твое...
- Не в зачет, - твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...
- Ишь ведь сиверко... Господи помилуй...

Верно, - почта не пойдет... Ну их, и с деньгами. Своя душа дороже...

- Помоги тебе владычица, Софрон Семенич.

Я с безотчетным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович... Мне казалось, что в великодушном предложении старосты и в том, как оно было принято, - есть что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас... Но Игнатовича на этом месте уже не было.

Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, еще до окончания разверстки...

У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нем было обычное мизантропическое выражение, с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры...

Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул по-прежнему; по временам трещали стены станочных мазанок и издалека доносился стонущий звук лопающегося льда.

- Товарища кличешь? - спросил меня проходивший мимо ямщик. - Да он, чай, ушел спать в другую избу... Беспокойно было у вас. Может, попросился к шабрам.

В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне.

- Что такое? - спросил он. - Что еще?

- Скорей, скорей, ради бога, - сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.

- Ну, нет, - сказал он. - Погоди, барин, так нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся.

И он настоял, чтобы я оделся в его меха...

Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой еще кучу одежды на всякий случай...

Ветер был тяжелый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая поземка.

Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нес нам навстречу ровно, беспрерывно, упорно... Это не метель, но хуже всякой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...

- Нашли вы этого человека? - спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.

- Нашли, - ответил он как-то беззвучно... - Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты, и на зрачках осел иней...

- А ваш товарищ? Он действительно остался на станке?

Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.

- Я был глубоко убежден, что он пошел по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и вглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна и притом широкая и обставленная вежами, так что сбиться было невозможно, особенно в светлую все-таки ночь...

Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер стих, и мороз внезапно сдался. Потом вошло солнце. Следов нигде не было.

- Значит, вы ошиблись?

- Мы приехали на станок... Там его тоже не было...

Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...

- Он был непрактичен и беспомощен, как ребенок, - сказал он. - Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошел спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...

Рассказчик повернулся ко мне.



- Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошел все прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день еще сохранились в затишных местах следы. Они шли все прямо, не сворачивая. Прошел он удивительно много и... не отступил ни шагу, пока...

Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.

- Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошел, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам - совершенный ребенок. Ему, просто, стало невыносимо... И еще... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нем казнил материалиста...

Он опять замолк.

- Вы сказали, кажется, - подлую человеческую природу? - сказал я через некоторое время.

Он оглянулся, как будто несколько удивленный.

- Ах, да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаемся...

Он не досказал, махнул рукой, и все остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперед, а мы поневоле ехали тише.

## VI

Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:

- Человек тут застыл... двое... Крест поставил приискатель, Сокольской; может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...

Действительно, по глубокому снегу, освещенному продиравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.

- Никогда мимо не проедет, - сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь. - Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший.

И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:

- Видно, приятели были...

Примечания

Рассказ писался в конце 1900 г. (дата завершения - 3 января 1901 г.). Впервые опубликован в журнале "Русское богатство" (Петербург), 1901, январь, кн. 1, под заглавием: "Сибирские рассказы. I. Мороз".